

Анна Литвина и Федор Успенский
Чепчик счастья:
К интерпретации одного образа в «Стихах о
неизвестном солдате» Осипа Мандельштама

...в поэзии разрушаются грани националь-
ного, и стихия одного языка перекликается с
другой через головы пространства и времени,
ибо все языки связаны братским союзом, утвер-
ждающимся на свободе и домашности каждо-
го, и внутри этой свободы братски родственны
и по-домашнему аukaются.

О. Мандельштам «Заметки о Шенье» (1922 г.)

Для того ль должен череп развиваться
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,

Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец...¹

© Anna Litvina, Fedor Uspenskii, 2011

© TSQ 35. Winter 2011 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

За замечания, добавления и помощь в работе авторы признательны М. В. Безродному, К. В. Елисееву, А. К. Жолковскому, В. В. Рыбакову и Б. А. Успенскому.

¹ О. Э. Мандельштам. Сочинения / Вступ. ст. С. С. Аверинцева, сост. С. С. Аверинцева и П. М. Нерлера, подгот. текста и комментарии А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера. М., 1990. Т. I. С. 244.

Образ черепа — один из самых важных и, наверное, самых загадочных в столь сложном и загадочном тексте как «Стихи о неизвестном солдате». Он оснащен целой гроздью метафор и поэтических характеристик, требующих распутывания и объяснения, иногда доходящего до уровня дешифровки. При этом часть связанных с ним смысловых коннотаций остается вполне прозрачной: чаще всего исследователи, вслед за Н. Я. Мандельштам, обращают внимание на их гуманистическую составляющую, трактуя череп как вместилище мысли, олицетворение человеческого разума и человеческой цивилизации. Разумеется, не менее очевиден и другой общекультурный пласт ассоциаций — череп, мертвая голова, выступает в «Стихах о неизвестном солдате» как символ смерти, тленности, недолговечности человеческих деяний и всего живущего ².

² Ср. Н. Я. Мандельштам: «Мандельштам поверил, что мучившие его стихи — не призрак, только после того, как в них появился дифирамб человеку, его интеллекту и особой структуре. Я говорю о строфе, где человеческий череп назван «чашей чаш» и «отчизной отчизны» <sic>. „Смотри, как у меня череп расщебетался“, — сказал Мандельштам, показывая мне листочек, — „теперь стихи будут“» (Н. Я. Мандельштам. Вторая книга. М., 1990. С. 492—493). — И. М. Семенко: «Человеческая голова, череп ассоциируется у Мандельштама с Шекспиром как безусловнейшим примером ценности человека» (И. М. Семенко. Творческая история «Стихов о неизвестном солдате» // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 498; см. также: О. Э. Мандельштам. Сочинения. Т. I. С. 564). — Ю. И. Левин: «Основной образ... — череп — глубоко амбивалентен, как и его прототип в «Гамлете»: череп в земле (вся часть построена, как и в «Гамлете», в виде «размышления над черепом»), символ брэнности, смерти и тления, — и череп как вместилище («чаша») мозга и источник («отчизна») мысли («Понимающим куполом яснится, Мыслью пенится...») и самознания («сам себе снится»), творчества («Шекспира отец») и счастья («чепчик счастья»). Аналогичные мотивы звучат и в гамлетовской сцене на кладбище — «и он мог петь», «...с бесконечным юмором и дивною фантазиею» и т. д., ср. также: «Для того ль должен череп развиться..., чтоб...» — «Неужели питание и воспитание этих костей стоило так мало, что...» (Ю. И. Левин. Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов, II («Стихи о неизвестном солдате») // Slavica Hierosolymitana. Т. IV. 1979. С. 201). — О. Ронен: «Традиционно амбивалентный символ, осложненный индивидуальным контекстом творчества Мандельштама («Мир, который как череп глубок»). Ср. «чудесавль» Хлебникова «Влом вселенной»: «Поставим лестницы / К замку звезд, / Прибьем как воины свои щиты, пробьем / Стены умного черепа вселенной, / Ворвемся бурно, как муравьи в гнилой пенъ,

В сущности, многие необходимые и изощренные комментарии обречены в конечном счете служить лишь дополнительными аргументами в пользу актуальности двух этих первичных начал в интересующем нас образном ряде. С другой стороны, поэтапный анализ вереницы метафор черепа, как кажется, способен проявить и скрытое присутствие еще одной темы, столь же непосредственно связанной с первоосновами человеческого бытия. Традиционно зловещий знак смерти у Манделштама является одновременно и прямым символом рождения.

К такому решению нас подталкивает «разгадка» синтагмы, долгое время менее других привлекавшей внимание исследова-

с песней смерти к рычагам мозга...» (*Омри Ронен*. К сюжету стихов о «Неизвестном солдате» // *Slavica Hierosolymitana*. Т. IV. 1979. С. 221). — Вяч. Вс. Иванов: «Вторая половина стихотворения в большой степени строится на метафоре *черепа* как символа одновременно торжества человеческого духа и разума и войны (войск), которая входит в *глазницы* (что продолжает ту же тему света смертоносного оружия в глазах поэта). Представляется несомненным, что сама словесная форма — слово *череп* в значении «голова» — восходит к Хлебникову, в чьих стихах (и прозе) тема борьбы с будущими войнами была особенно отчетливой...» (*Вяч. Вс. Иванов*. «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // *Жизнь и творчество О. Э. Манделштама*. Воронеж, 1990. С. 59—60). — М. Л. Гаспаров: «Образ черепа, в свою очередь, через мотив «развивается череп от жизни» связывается со стихами и прозой Манделштама о Ламарке и натуралистах; через «купол» — с «ласточкой купола» в стихотворении «Рим» (16 марта 1937); через «швы» перерастает в образ «шитого чепца» а затем через «звездный рубчик» — в образ небосвода: угрожающим мирам-жирам-созвездиям первой половины стихотворения противопоставляется звездный купол-чепчик счастья во второй его половине. Неожиданное кульминационное словосочетание «Шекспира отец», видимо, значит: «могучий череп мировой культуры порождает и знаменитые речи Гамлета над ничтожными черепами кладбища»; за словом «отец» стоит также тематика «шекспириологического» эпизода джойсовского «Улисса» (замечено О. Роненом), появившегося по-русски в «Интернациональной литературе» за 1936 год. Среди других подтекстов — «Гамлет-Баратынский» с его парадоксально-жизнеутверждающим «Черепом» («Живи живой, спокойно тлей мертвец») и М. Зенкевич с его стихами 1913—1914 гг. (шея под гильотиной — «на копье позвоночника она носитель Чаши, вспененной мозгом до края»; «когда пред ночью в огненные кольца Оправлен череп, выпитый тоской»; «для тебя налита каждая извилина Жертвенного мозга моего») (*М. Л. Гаспаров*. О. Манделштам: гражданская лирика 1937 года. М., 1996. (Чтения по теории и истории культуры, вып. 17.). С. 36—37).

телей — *чепчик счастья*. Обыкновенно она втягивается в орбиту соседних эпитетов и связывается то с темой венца или короны ³, то — в самом общем виде — в силу уменьшительности слова *чепчик*, продолжающего полновесное *звездным рубчиком шитый чепец*, с темой утраченного детства. При этом смысловое наполнение компонентов, из которых состоит наша синтагма, чаще всего рассматривается по отдельности.

Между тем у выражения *чепчик счастья* есть вполне конкретный прототип. Однако чтобы увидеть его, необходимо обратить внимание, что череп у Мандельштама «расщепетался» ⁴ на нескольких языках сразу, то есть учитывать присущее поэту стремление вносить в русскую языковую среду элементы иных языков и иных культурных традиций. Проявления этой тенденции к созданию единого межъязыкового пространства уже неоднократно отмечались исследователями. Так, в мандельштамоведении сделались почти хрестоматийными наблюдения Г. А. Левинтона, согласно которым в строке *Фета жирный карандаш*, например, эпитет *жирный* как бы дублирует немецкое *fett* ‘жирный’, звучащее в фамилии поэта, а в строке *Есть блуд труда, и он у нас в крови*, в свою очередь, слова *кровь* и *блуд* дополнительно связаны между собой через немецкое *Blut* ‘кровь’ ⁵.

³ Ср., например: Г. Г. Амелин. Кто же ты на самом деле — айсберг или Айзенберг? Рецензия на: [Михаил Айзенберг. Оправданное присутствие. Сборник статей. М., 2005] // Русский журнал. 2005. 24 февраля.

<http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Kto-zhe-ty-na-samom-dele-ajsberg-ili-Ajzenberg>

⁴ Отметим походя, сколь разительно высказывание о расщепетавшемся черепе, засвидетельствованное Н. Я. Мандельштам (см. выше, примеч. 2 к нашей работе), перекликается с некоторыми образами из стихотворения о Франсуа Вийоне, созданном 18 марта 1937 г., вскоре после «Стихов о неизвестном солдате»: «Размотавший на два завещанья / Слабовольных имуществ клубок / И в прощанье отдав, в верещанье / Мир, который как череп глубокий» (О. Э. Мандельштам. Сочинения. Т. I. С. 251).

⁵ Г. А. Левинтон. Поэтический билингвизм и межъязыковые влияния: (Язык как подтекст) // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979; ср. также: Омри Ронен. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 37, примеч. 38. Пример *Есть блуд труда, и он у нас в крови*, согласно указанию Г. А. Левинтона (с. 33), впервые был отмечен Р. Д. Тименчиком.

Из относительно недавних работ, специально посвященных обнаружению межъязыковых связей в поэтике Мандельштама, упомянем книги Г. Г. Амелина и В. Я. Мордерера (Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер. Миры и столкновения Осипа Мандельштама. М.; СПб., 2001) и Л. Р. Городецкого

Случаи такого рода отнюдь не ограничиваются соответствиями из немецкого (хотя ему как наиболее близкому для поэта, видимому, принадлежит особое место), более того, они выходят за пределы круга собственно европейских языков. В этом отношении очень интересна строка из стихотворения «Пою, когда гортань сыра, душа — суха...» (февраль 1937 г.) «И в горных ножнах слух, и голова глуха», потому что «глух'» — 'голова' по-армянски, а мы располагаем неоспоримым свидетельством, что Мандельштам знал об этом и даже строил на данном созвучии некие языковедческие умозаключения:

Голова по-армянски: глух', с коротким придыханием после «х» и мягким «л»... Тот же корень, что по-русски... А яфетическая новелла? Пожалуйста. Видеть, слышать и понимать — все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота. Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...⁶.

Упомянутые нами здесь примеры объединены признаком дублетности, когда замаскированное иностранное слово отчасти повторяет явно присутствующее в строке слово русское. Однако этим тавтологическим приемом работа по расширению языкового пространства в текстах Мандельштама отнюдь не исчерпывается. Следы ее можно обнаружить едва ли не на всех языковых уровнях, от фонетики до синтаксиса.

Очевидно, что в предельно концентрированном трагическом паневропеизме «Стихов о неизвестном солдате» присутствие подобной межъязыковой полифонии было бы особенно естественным. Именно здесь она перерастает рамки каламбурного

(Л. Р. Городецкий. Текст и мир: Языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация. М., 2008).

⁶ О. Э. Мандельштам. Сочинения. Т. II. С. 106. Связь стихотворения «Пою, когда гортань сыра, душа — суха...» с соответствующим фрагментом из «Путешествия в Армению» отмечается в комментариях А. Г. Меца (Осип Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем в трех томах / Сост., подгот. текста и комментарии А. Г. Мец. Т. I. М., 2009. С. 653).

приема и превращается в конструктивный элемент новой поэтики, в нее вовлекаются как живые языки, так и мертвые ⁷. В чем же, однако, заключается лингвистический подтекст *чепчика счастья*?

За этой метафорой стоит целое созвездие живых европейских языков. Прежде всего, это явная — с сохранением падежных отношений! — калька немецкого *Glückshaube* (*das Glück* 'счастье' + *die Haube* 'чепчик'), обозначающего те фрагменты околоплодной оболочки, которые могут оставаться на головке, лице и верхней части туловища новорожденного ⁸ и, согласно многочисленным поверьям, приносят счастье своему обладателю, а иногда и тем, кому удастся их заполучить ⁹.

⁷ Так, В. Н. Топоров отмечал в эпитете *хилая* (из конструкции *ласточка хилая* в «Стихах о неизвестном солдате») созвучие с древнегреческим именованием ласточки *χελιδών* (В. Н. Топоров. К исследованию анаграмматических структур (анализы) // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 228—232). В качестве еще одного примера подобной тавтологической интерференции с древними языками мы могли бы предложить сочетание *небо... целокупное*, где, по-видимому, происходит своего рода перетекание русской языковой стихии в латинскую, так как одним из мотивирующих оснований для появления эпитета *целокупный* служит латинское *caelum* 'небо'.

⁸ В «медицинской латыни» со времен позднего Средневековья это явление обозначается с помощью термина *caput galeatum* ('голова в шлеме'), а сам «чепчик», соответственно, *galea* 'шлем' (о других наименованиях см. подробнее: *Th. R. Forbes. The Social History of the Caul* // *Yale Journal of Biology and Medicine*. Т. XXV. 1953. С. 498). Ср. также голландское выражение *met de helm geboren zijn*, означающее 'родиться в сорочке', букв. 'родиться с шлемом'.

⁹ Разумеется, как это часто бывает в народной культуре с атрибутами счастья, им иногда может придаваться и прямо противоположное, отрицательное значение. Так, ребенку, родившемуся с остатками околоплодного пузыря, в некоторых традициях приписывается возможность общения с потусторонними силами, которая порой трансформируется в представление о его собственной принадлежности силам зла — он может считаться будущим колдуном, вампиром, убийцей, ему суждено кончить свою жизнь на виселице (в петле) и т. п. Очень распространены поверья, согласно которым ребенок, появившийся на свет с таким атрибутом, обречен всю жизнь быть странником, бродягой. Тем не менее, мотив счастливого предзнаменования в поверьях, связанных с такими детьми, все же безусловно доминирует. См. подробнее о рождении в сорочке в различных традициях вообще и об амбивалентности восприятия данного атрибута в частности: *Th. R. Forbes. The Social History of the Caul*. С. 495—508; *L. Weiser-Aall. Die Glückshaube in der norwegischen Überlieferung* // *Saga och sed*

Параллелью немецкой, при всей ее очевидности и надежности, не стоит, впрочем, ограничиваться, весьма похожее выражение есть в целом ряде европейских языков. Более того, может показаться, что по карте Европы пролегают своего рода изоглоссы, делящие различные культурные традиции на те, где для обозначения данного явления используется выражение со словом *чепчик*, *чепец*, *шапочка* (польск. *urodić się w czerpku*, англ. *to be born in a caul / to be born with a caul on one's head*, нем. *mit der Glückshaubе geboren sein*, франц. *être né coiffé / il est né coiffé*), и те, где это материальное воплощение счастливых предзнаменований описывается с помощью слов *рубашка*, *сорочка* (итал. *essere nato con la camicia*, испан. *haber nacido con la camisa puesta*, украин. *народжен в сорочці*). На самом деле не только в двух смежных диалектах, но и в рамках одного и того же литературного языка могут сосуществовать, подчас конкурируя и оттесняя друг друга, оба этих обозначения¹⁰. В этом отношении именно русский язык скорее исключителен в своей «чистоте подхода» — литературный его извод знает только выражение *родиться в сорочке / рубашке*, да и в диалектах *чепец* (*чепчик*) весьма раритетен¹¹.

(1960). 1961. С. 29—36; *L. Weiser-Aall. 'Ενδυμα // Symbolae Osloenses*. 1961. Т. XXXVII. С. 82—87; *R. Jakobson, M Szeftel. The Vseslav epos // Roman Jakobson. Selected Writings*. Т. IV. Paris, 1966. С. 341—347; *N. Belmont. Le signes de la naissance: Étude des représentations symboliques associées aux naissances singulières*. Brionne, 1971. С. 28, 52—60.

¹⁰ Ср. данные славянских языков, где в словенском, например, термины *sgajša* 'сорочка', *košelca* 'рубашечка' соседствуют с *šaročka* 'шапочка' и *čerček* 'чепчик' (подробнее: *R. Jakobson, M Szeftel. The Vseslav epos*. С. 341—342; *А. А. Плотникова. «Рубашка» // Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах*. Т. IV: П (Переправа через воду) — С (Сито). М., 2009. С. 489—490 <с указанием литературы>).

¹¹ Название *чепец*, обозначающее плеву на голове у ребенка, в XIX в. было зафиксировано в говорах Харьковской губернии, причем считалось, что такая плева, собранная в складки, предвещает новорожденному архиерейский чин (*Н. Ф. Сумцов. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребенка // Журнал Министерства Народного Просвещения*. 1880. № 11. Ч. ССХII. С. 79). Сходные представления отмечались и для некоторых регионов Западной Европы. В частности, в Австрии считалось, что мальчик, рожденный в чепчике, станет архиепископом, если будет носить этот предмет под своей одеждой (*O. von Hovorka, A. Kronfeld. Vergleichende Volksmedizin*. Stuttgart, 1908. Т. I. С. 188. Т. II. С. 327, 593—594). Рождение в чепце могло связываться и с предзнаменованием монашеского сана (*Th. R. Forbes. The Social History of the Caul*. С. 498 <с указанием литературы>).

Само по себе поверье, согласно которому остатки околоплодной оболочки, сохранившиеся на теле новорожденного, приносят удачу, со всей очевидностью весьма архаично. Так, в древнем Вавилоне они рассматривались преимущественно как доброе предзнаменование ¹², в античном Риме их стремились приобрести юристы, поскольку считалось, что это приносит удачу в судебных делах ¹³.

В Англии на протяжении многих столетий существовала примета, что эти фрагменты оболочки предохраняют от кораблекрушения, а их обладатель не может утонуть. Известно, что объявления о продаже таких чепчиков регулярно появлялись не только в газетах, но и на стенах лондонской биржи — очевидно,

¹² См., например: *S. Langdon. Babylonian Proverbs // The American Journal of Semitic Language*. Т. XXVIII. № 4. Jul. 1912. С. 219 <примеч. 2>.

¹³ Во всяком случае, этот обычай упоминается в позднелатинских исторических сочинениях, в частности, у Элия Лампридия, одного из предполагаемых авторов «Истории Августов». В биографии Антонина Диадумена (первые десятилетия III в.), в связи с чудесными обстоятельствами рождения Антонина, римский историк сообщает: «В тот день, когда он родился, его отец, заведующий Большой Казной, случайно обнаружил багряницу. Поняв, что она — очень ценная, он распорядился отнести ее в тот покой, в котором спустя два часа родился Диадумен. Ведь новорожденные иной раз бывают отмечены от природы шапочкой (т. е. сорочкой), которую повитухи забирают и продают доверенным судейским, ведь говорят, что юристам она приносит удачу. А у этого мальчика шапочки не было, а вместо нее — тоненькая диадема, но такая прямо, что порвать ее было невозможно, этому мешали прочные волокна, наподобие тетивы у лучника. Говорят также, что мальчик был назван Диадемат (= 'увенчанный диадемой'), но когда он подрос, был назван по имени своего деда по матери Диадумен, потому что имя 'Диадумен' не сильно отличается от этого именованья — 'Диадемат'» (*die qua natus est pater eius purpuras, tunc forte procurator aerarii maioris, inspexit et quas claras probavit in id conclave redigi praecepit in quo post duas horas Diadumenus natus est. solent deinde pueri pilleo insigniri naturali, quod obstetrices rapiunt et advocatis credulis vendunt, si quidem causidici hoc iuvari dicuntur. at iste puer pilleum non habuit sed diadema tenue, sed ita forte ut rumpi non poterit, fibris intercedentibus specie nervi sagittarii. ferunt denique Diadematum puerum appellatum, sed ubi adolevit, avi sui nomine materni Diadumenum vocatum, quamvis non multum abhorruerit ab illo signo Diademati nomen Diadumeni*) (*Historia Augusta / Ed. and transl. D. Magie. T. I—III. Cambridge (Mass.); London, 1921—1932. (Loeb Classical Library. T. 139—140, 263.) T. II (1924). С. 88—90 <§ 4>*).

предполагалось, что они полезны и в путешествии, и при заключении различного рода сделок ¹⁴.

С другой стороны, у многих народов сохранялись представления, согласно которым эта оболочка нерушимо связана с тем человеком, который в ней родился, в чьих бы руках она не находилась, и что ее состояние служит своего рода удаленным барометром здоровья и житейских перипетий того, кто увидел в ней свет. В некоторых культурах (в частности, славянских) свою *сорочку* надевали на пояс во время свадебного обряда, брали ее в путешествие, в суд и на войну и ее же клали в гроб, чтобы и на том на свете она сопровождала своего обладателя ¹⁵.

При всей древности и универсальности субстрата, стоящего за совокупностью этих примет, необходимо учитывать, что лексическое оформление подобных конструкций не только могло различаться от страны к стране, но и испытывать влияние смены культурной парадигмы. Весьма вероятно, например, что те его наименования, которые мы лучше всего знаем благодаря европейской традиции Нового времени (чепчик и сорочка), в народной культуре осмыслились в русле христианской традиции, точнее говоря, крестильного обряда ¹⁶. С другой стороны, осно-

¹⁴ A Dictionary of Superstitions / Ed. by I. Opie & M. Tatem. Oxford, 1992. С. 66—67. Ср. также: J. Napier. Folklore: or, superstitious Beliefs in the West of Scotland within this Century. Paisley, 1879. С. 32 <гл. II: Birth and Childhood>; A. W. Moore. The Folklore of the Isle of Man. London, 1891. С. 156 <гл. VIII: Customs and Superstitions connected with Birth, Marriage, and Death>; Th. R. Forbes. The Social History of the Caul. С. 495—508.

¹⁵ Г. И. Кабакова. На пороге жизни: новорожденный и его «двойники» // Слово и культура: Памяти Н. И. Толстого. М., 1998. Т. II. С. 108—113; А. А. Плотникова. «Рубашка». С. 489—490 <с указанием литературы>.

¹⁶ Иными словами, употребление именно этих терминов имплицитным образом подразумевает, что младенец уже в самый момент рождения как бы наделен теми атрибутами, которые полагается надевать на него при крещении. Характерно, что более распространенное в современном английском выражение, обозначающее удачливость, полученную от рождения — to be born with a silver spoon in one's mouth (букв. 'родиться с серебряной ложкой во рту') — возможно, также связано с крестильной атрибутикой. Зафиксировано немало случаев, когда чепчик — в качестве своеобразного двойника новорожденного — тайно подвергали обряду крещения (Th. R. Forbes. The Social History of the Caul. С. 499). Церковные авторитеты, разумеется, относились к подобным суевериям отрицательно, что не мешало, впрочем, части духовенства разделять народные воззрения, со-

вой номинации этого предмета могли служить слова, никак не связанные с христианством — в частности, обозначения кожи детенышей животных (ягненка, козленка) ¹⁷. В свою очередь, явные милитарные коннотации этого поверья, связанные со сближением чепчика и шлема, никогда не утрачивались вовсе, тем более что на германской почве вплоть до XVI в. словом *Haube* мог обозначаться не только чепец, но и некоторые разновидности боевого шлема (*Hirnhaube*, *Beckenhaube*, *Sturmhaube*) ¹⁸; позднее

гласно которым подобные знаки счастливого рождения обладали силой оберега (и потому являлись предметом купли-продажи), а зачастую были связаны с церковной обрядностью и церковным облачением. Так, Феодор Вальсамон, канонист XII в., в своих комментариях к правилам Трулльского собора, ссылаясь на Иоанна Златоуста, с негодованием пишет о некоем игумене монастыря Осии, который носил за пазухой сорочку новорожденного младенца, утверждая, что она дана ему одной женщиной для отвращения и заграждения уст тем, которые покусились бы говорить против него (*Patrologia cursus completus / Accurante J.-P. Migne. Series graeca. T. CXXXVII. Paris, 1865. Стб. 721—724*). Не исключено (хотя, разумеется, мы не можем этого утверждать с уверенностью), что упомянутый игумен возлагал определенные надежды на продолжение с помощью чепчика своей духовной карьеры, мечтая, например, сделаться архиепископом (ср. примеч. 11 к настоящей работе). В связи с этим можно упомянуть и об эпизоде, относящемся ко временам правления во Франции Генриха IV, когда в 1596 г. два священника затеяли шумную ссору из-за чепчика, который один из них забыл, уходя от алтаря, а другой попытался присвоить (*Th. R. Forbes. The Social History of the Caul. С. 500*). Несколькими десятилетиями ранее на Руси Стоглавый собор (1551 г.) осудил распространенную в народе практику возложения на алтарь сорочек, в которых появлялись на свет дети. Сорочки эти, по поверью, должны были оставаться на престоле в течение шести недель:

«Инаа оубо творится в простои чади. в мироу дѣти родатса в сорочка^х. и ти сорочки приносятъ к попо^м. и вела и^х класти на прѣтле до шти недѣль. I о то^м ѡвѣтъ. Вперѣ^а таковыа не чѣ^тоты и мерзости во стаа цркви не приносяти. и на прѣтле до шти н^ль не класти. поне^ж и родившаа жена до четыредеса^д дни дондеже оыститца въ стоую црковь неводитъ. аще ли которыи сѣнкъ таковаа дръзнетъ сотворити. и тому бытии по^а запрещнѣ^м стѣ^х правилъ»

(Стоглав. М., 1890. С. 168—169 <гл. XLI, вопрос 2>).

¹⁷ См. подробнее: *Th. R. Forbes. The Social History of the Caul. С. 497—498; R. Jakobson, M Szeftel. The Vseslav epos. С. 341—348.*

¹⁸ При этом еще в первой половине XVII в. фламандский анатом Адриан Ван дер Шпигель (*Adriaan van den Spiegel*) в своем латинском трактате предлагал называть у детей мужского пола такую оболочку шлемом

эта семантическая функция слова *Haube* в немецком языке практически исчезла, чтобы в середине XIX в. неожиданно воскреснуть в совершенно новой ипостаси, но об этом мы еще упомянем ниже.

Так или иначе, Мандельштам в интересующем нас случае несомненно ориентировался в первую очередь на «европейский» чепчик. Мы можем быть уверены, что французская версия этого выражения (*être né coiffé*) не могла остаться неизвестной поэту — она встречается, в частности, буквально на первых страницах «Легенды о Тиле Уленшпигеле», перевод которой, как известно, Мандельштам редактировал¹⁹. Более того, именно в этом фран-

(*galea*), в соответствии с германской традицией, а у девочек, в соответствии с романской традицией, головной повязкой (*vitta*), накидкой (*indusium*) или рубашкой (*camisia*). При этом из его иллюстраций явствует, что речь идет об абсолютно идентичных предметах (*Adrianus Spigelius. De formato foetu, liber singularis, aenis figuris ornatus. Epistolae duae anatomicae: Tractatus de arthritide. Patauii, 1626. С. 10; Th. R. Forbes. The Social History of the Caul. С. 495—496*).

¹⁹ Напомним, что вокруг этого издания возник настоящий литературный скандал. Даже если мы будем придерживаться мнения оппонентов Мандельштама, прежде всего, А. Горнфельда, и предположим, что поэт не слишком далеко продвинулся в своем знакомстве с оригиналом «Легенды о Тиле», крайне маловероятно все же, чтобы он не видел хотя бы первых его страниц, повествующих о рождении героя, где упоминание о чепчике счастья повторено дважды. Любопытно, что слово *чепчик* в разных его значениях то и дело всплывало в сознании поэта в процессе редактирования. Так, на упрек обиженного Горнфельда, согласно которому Мандельштам, обрабатывая чужие тексты, произвольно заменил правильные «чулки» из горнфельдовского перевода и ошибочные «юбки» из перевода Карякина на «торчащие крахмальные чепцы» (А. Горнфельд. Переводческая стряпня (Письмо в редакцию) // «Красная газета». № 328: вечерний выпуск от 28 ноября 1928 г. <http://www.mandelstam-world.org/viewlisting-todocs.php?lan=rus&imgnum=188&num=41&archive=2>), он отвечал: «Мы вынуждены работать на кустарном станке и, все таки, выпускаем тексты лучше прежних. Педантическая сверка с подлинником отступает здесь на задний план перед несравненно более важной культурной задачей — чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом подлинника. Нам важно, чтобы молодежь не путала Уленшпигеля с Вильгельмом Теллем, а книжникам-фарисеям — «безгрешная книга» на полке и пустое место в умах и сердцах читателей. Поэтому я не смущаюсь, если при перечислении характерного костюма вместо чулок и юбок проскользнут чепцы, ничуть не обидные для Костера и, как следует надетые на голову фламандки» (О. Э. Мандельштам. Письмо в редакцию «Красной газеты». Машино-

цузском тексте две стандартные фразеологические конструкции, обозначающие благоприятное предзнаменование для новорожденного следуют в непосредственной близости друг за другом — *Coiffé, né sous une bonne étoile!* («В чепчике <родился>, под счастливой звездой!»)²⁰. Как нетрудно убедиться, следы обоих этих фразеологизмов видны и в двух смежных метафорах черепа в «Стихах о неизвестном солдате»: «Звездным рубчиком шитый чепец, / Чепчик счастья...» (заметим попутно, что одежда для новорожденного — чепчик и сорочка — шьется, как правило, швами наружу, что само по себе может вызывать ассоциации со столь же выраженными у младенца черепными швами)²¹.

К тексту Костера дело, однако, тоже не сводится. Такого рода зачин с упоминанием приносящего счастье «чепчика» вообще

пись (РГАЛИ. Ф. 1893 (Мандельштам О. Э.). Оп. 1. Д. 9. Л. 30—45. 16 л.):

<http://www.mandelstam-world.org/viewlistimgtodocs.php?lan=rus&imgnum=189&num=41&archive=2>

²⁰ На русской почве упоминания о счастливом расположении звезд могут вплотную примыкать к рассказу о рождении в сорочке. Ср., например, в повести «Неуч» Я. Полонского: «На белый свет он был матерью рожден в сорочке под счастливым Зодиаком. Ему везло...». Иногда эти конструкции могли дифференцироваться по признаку книжности / народности: «Есть люди, которые, как уверяли астрологи, явились на свет под счастливой звездой, или, как гласит народная пословица, родились в сорочке» (П. А. Каратыгин. Записки. Т. II. Л., 1930. С. 16). Эти и другие примеры, равно как и историю самого фразеологизма см.: М. И. Михельсон. Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. СПб., б. г. Т. I. С. 159 <В. 636>; В. В. Виноградов. История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1994. С. 601—603 <«Родиться в сорочке»>.

²¹ Не исключено, кроме того, что тема чепчика перекликается здесь с такой деталью на знаменитом портрете Шекспира Мартина Друшаута, как кружевной воротник сорочки, ср. соответствующее наблюдение И. М. Семенко: «Черепные швы метафоризированы в «звездном рубчике» (изгибы линий). «Звездным рубчиком шитый...» — это, может быть, также и перенос признака (Шекспир на портрете — в кружевном воротнике)» (И. М. Семенко. Творческая история «Стихов о неизвестном солдате». С. 498). Если эта догадка исследовательницы верна, перед нами нечто вроде попытки объединения русского («родиться в сорочке») и заимствованного («родиться в чепце») фразеологизма. Сказанное не отменяет, разумеется, темы «космизма», пронизывающей весь ряд поэтических характеристик черепа у Мандельштама.

вполне типичен для европейского романа XIX в.²², здесь достаточно вспомнить хотя бы «Жизнь Давида Копперфильда». Напомним, что герой-повествователь у Диккенса не только сообщает, что родился в чепчике (*with a caul*), но и излагает длинные перипетии, связанные с попыткой продать этот предмет то через объявление в газете, то на благотворительном аукционе. Объявления подобного рода с точным указанием цены предлагаемого товара и в самом деле продолжали появляться в английских газетах на протяжении всего XIX столетия, хотя уже и воспринимались частью публики как курьезный анахронизм (что, соответственно, и обыгрывается в «Давиде Копперфильде»)²³. Показательно, что в качестве потенциальных покупателей у Диккенса фигурируют не только моряки, но и некий биржевой поверенный.

Если от героев собственно литературных обратиться к лицам историческим, то для понимания «Стихов о неизвестном солдате», быть может, небезынтересно, что «в чепчике» родился не только Наполеон — один из, так сказать, прямо названных «участников» мандельштамовской оратории — но и лорд Байрон, о чем неизменно сообщалось и сообщается во множестве их биографий²⁴. Байроновские подтексты в «Стихах о неизвестном сол-

²² Встречается такой зачин и в европейской литературной сказке, например, у братьев Гримм («*Der Teufel mit den drei goldenen Haaren*»), которые в данном случае выступают как в роли исследователей, так и в роли собирателей-пересказчиков фольклорных текстов (*Kinder- und Hausmärchen: Jubiläumsausgabe mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm / Hrsg. von H. Rölleke. Stuttgart 1989. T. I. С. 167, 170; J. Grimm. Deutsche Mythologie. Göttingen, 1835. С. 508, 706; ср. также английский перевод данного исследования со значительными добавлениями и комментариями переводчика: J. Grimm. Teutonic Mythology / Transl. by J. S. Stallebrass. London, 1883. T. II. С. 874—875 <примеч. 1>*).

²³ Во всяком случае, в 20-е гг. XIX столетия лондонские газеты уже могли выражать недоумение по поводу объявлений о продаже чепчиков: “Will your readers believe that, on the walls of the Exchange of the first city in the world [London] the resort of the most intelligent merchants and traders of this great empire, bills, advertising for sale children’s cauls, as an infallible preservative ‘drowning, &c.’ are still impudently exhibited” (газета «*John Bull*» от 20 января 1822 г., цит. по: *A Dictionary of Superstitions. С. 67*).

²⁴ См., например: *J. Kemble. Napoleon immortal: the medical history and private life of Napoleon Bonaparte. London, 1960. С. 2; P. G. Trueblood. Lord Byron. Boston, 1977. С. 19*. Чепчик Байрона, в полном соответствии с традиционными воззрениями, был продан его кормилицей мисс Миллс капита-

дате», судя по всему, довольно многочисленны²⁵, но для нас, пожалуй, важнее всего, что именно благодаря Байрону столь популярной во всей романтической и постромантической стихотворной традиции Европы оказалась тема чаши, изготовленной из черепа («Lines Inscribed Upon a Cup Formed From a Skull», 1808 г.)²⁶.

Можно допустить, таким образом, что байроновский ореол имплицитно поддерживает еще одну ассоциативную связку вну-

ну Джеймсу Хэнсону (The Works of Lord Byron. Letters and Journals. A New, Revised and Enlarged Edition, with Illustrations / Ed. by R. E. Prothero. London, 2001. Т. I. С. 9 <1799 г.>). Любопытно, что сам поэт считал этот чепчик скорее недобрый предзнаменованием трагической судьбы.

²⁵ Л. Ф. Кацис. Мандельштам и Байрон: к анализу «Стихов о неизвестном солдате» // Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991. С. 436—453; Л. Ф. Кацис. Эсхатологизм и байронизм позднего Мандельштама: к анализу «Стихов о неизвестном солдате», II // Столетие Мандельштама: Mandelshtam Centenary Conference. Tenaflly, 1994. С. 119—135.

²⁶ Здесь, конечно же, следует отметить, в первую очередь, пушкинское «Послание Дельвигу», первоначально именовавшееся «Череп», которое не раз упоминалось исследователями в качестве подтекста к строкам *чаша чаш и отчизна отчизне* (М. Л. Гаспаров. О. Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. С. 36). Замечательно при этом, что Пушкин в этих стихах приводит целый набор своих собственных подтекстов, а вернее — весьма выразительный перечень источников, из которых русский автор начала XIX столетия мог почерпнуть представления о практике использования черепа как кубка — предания о викингах, стихи Байрона, «Череп» Баратынского и, опосредованно, шекспировского «Гамлета».

Характерно, что почти одновременно со стихами Пушкина появился и «Череп» А. А. Бестужева-Марлинского (1828 г.) — текст, любопытный, в частности, тем, что череп в нем называется *отчизной* мысли, а по соседству мы встречаем образ воздушного звездного пира: «Ты жизнью кипел, как праздничный фиал / Теперь лежишь разбитой урной; / Венок мышления увял, / И прах ума развеял вихорь бурный! // Здесь думы в творческой тиши / Роилися, как звёзды в поднебесной. / И молния страстей сверкала из души, / И радуга фантазии прелестной. // Здесь нежный слух вкушал воздушный пир, / Восхищен звуков стройным хором, / Здесь отражался пышный мир, / Бездонным поглощённый взором. <...> Молчишь! Но мысль, как вдохновенный сон. / Летает над своей покинутой отчизной, / И путник, в грустное мечтанье погружён, / Дарит тебя земле мирительною тризной» (А. А. Бестужев-Марлинский. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. и примеч. Н. И. Мордовченко; общ. ред. М. А. Брискмана. Л., 1961). Вопрос о том, является ли произведение Бестужева-Марлинского прямым подтекстом к строкам *чаша чаш и отчизна отчизне* из «Стихов о неизвестном солдате», мы бы предпочли оставить открытым.

три метафорического ряда у Мандельштама, объединяя *чашу чаи*, символ преемственности в смерти, с *чепчиком счастья*, знаком рождения и предзнаменованием удачи или необычной судьбы. Данная связь выглядит тем более прочной, что оба ее компонента объединены и общим лингвистическим подтекстом — метафора *чаша чаи*, помимо своей многослойной символической нагруженности²⁷, апеллирует, по-видимому, к одному из немецких названий черепа, *Hirnschale*, букв. 'чаша мозга' (*das Hirn* 'мозг' + *die Schale* 'чаша')²⁸. Кроме того, обращает на себя внимание структурная близость и фонетическая соотнесенность конструкций *чаша чаи* и *чепчик счастья*; при этом нужно учитывать, что подобные конструкции (Nom. + Gen.) — как с повтором (*чаша чаи, весть вестей, сеть сетей*)²⁹, так и без него (*чепчик сча-*

²⁷ Метафорическая конструкция *чаша чаи*, при всем обилии поэтических коннотаций в тексте Мандельштама, в полной мере сохраняет за собой «нормальное» общеязыковое значение, свойственное тавтологическим конструкциям Nom. + Gen. Pl. — 'главный среди многих, лучший из всех, воплощение признаков, присущих всем предметам или лицам данного класса' (ср. «царь царей», «песнь песней» и т. п.). Представление о черепе как о символической, ритуальной и пиршественной чаше, одновременно древней и вечной — это своего рода культурная универсалия, обычай пить из черепа приписывался практически всем архаическим воинским традициям. Сугубо условно можно выделить по крайней мере четыре извода предания о черепе из чаши, важных для европейской литературы: «античный», восходящий к Геродоту и растиражированный десятками этногеографических описаний древности и раннего Средневековья, связанный с ним «византийский», воплощением которого стал, в частности, рассказ о гибели князя Святослава Игоревича в «Повести временных лет», «германский», отразившийся в некоторых песнях «Старшей Эдды» и «ориентальный», «восточный», особенно значимый, по-видимому, для стихотворения Байрона. *Чаша чаи*, таким образом, оказывается элементом межкультурного и межъязыкового кода.

²⁸ Возможно, именно этот лингвистический подтекст конструкции *чаша чаи* имели в виду Ю. И. Левин, а вслед за ним и М. Л. Гаспаров, комментируя эту строку: ср. «...череп как вместилище («чаша») мозга...». См. также примеч. 2 к нашей работе.

²⁹ Тавтологические синтагмы подобного рода («возведенные в квадрат», по выражению М. Л. Гаспарова) несомненно нуждаются в самостоятельном исследовании. Здесь отметим только, что они, на наш взгляд, имеют самое непосредственное отношение, с одной стороны, к разработанному Мандельштамом приему актуализации элементарной грамматики (ср. другие примеры такого обыгрывания грамматической парадигмы: *от-*

стья, гений могил, тара обаянья и др.) — в мандельштамовской оратории чрезвычайно частотны и составляют, если так можно выразиться, один из основообразующих стержней поэтической грамматики этого текста.

Еще более соблазнительным в контексте «Стихов о неизвестном солдате» выглядит описание одной из примет, существовавшей в Германии, а, по некоторым данным, и в Бельгии и в Голландии: чепчик счастья, помимо всего прочего, обеспечивал своему обладателю возможность либо избежать военной службы вовсе, либо ускорить возвращение из армии целым и невредимым³⁰. Если бы мы могли быть уверены в том, что Мандельштам когда-либо слышал об этом «пацифистском» изводе интересующего нас поверья, появление данной метафоры в строфе о черепае несомненно обрело бы дополнительную мотивацию совершенно определенной направленности. С другой стороны, немаловажно, что во времена Первой мировой войны, столь актуальной для «Стихов о неизвестном солдате», в широкий обиход вошло сразу несколько сложных слов, в составе которых так или иначе фигурировал *чепец*. Прежде всего, немецкое *Haube* было частью весьма специфического военного «термина», о котором поэт едва ли мог не знать. Еще в середине XIX в. в Германии появился композит *Pickelhaube* — совершенно неофициальное, но весьма устойчивое обозначения немецкой военной каски с высоким заостренным шипом. К 1914 г. это не лишённое иронии именование, как, разумеется, и самый предмет, успели превратиться в международной публицистике в символ прусско-немецкого милитаризма (характерно, что в Пруссии, где впервые в Германии была введена в употребление эта часть армейского обмундирования, она практически никогда так не называлась в документах и публичных источниках)³¹. Для пехотинцев Первой

чизна отчизне, оборона обороны, за подем полей поле новое, бежит волна волной волне хребет ломая, я узнал, он узнал, ты узнала; подробнее см: Ф. Б. Успенский. Три догадки о стихах Осипа Мандельштама. М., 2008. С. 88—103), а с другой — к феномену дублетности мандельштамовских межъязыковых каламбуров, о котором упоминалось выше.

³⁰ *H. Ploss. Die Glückshaube und der Nabelschnurres: ihre Bedeutung in Volksglauben // Zeitschrift für Ethnologie. 1872. Т. IV. С. 188.*

³¹ Официально это средство для защиты головы именовалось *Helm* ('шлем'), *Lederhelm* ('кожаный шлем'), *Helm mit Spitze* ('шлем с острием')

мировой войны такие каски шились из кожи, поверх которой могли крепиться металлические пластины и декоративные детали. Весьма вероятно, что Мандельштам, в свое время испытывавший явный интерес к этому символическому атрибуту³², в «Стихах о неизвестном солдате» обыгрывает связь и противопоставление Pickelhaube и Glückshaube. Кроме того, с некоторых пор компонент Haube входит в одно из наименований, прилагавшееся к объекту, который в не меньшей степени, чем германский шлем, может служить олицетворением войны XX в. — газовую маску, наряду с прочими обозначениями (Gasmaske, Maske), немцы могли называть Gashaube (Gasschutzhaube), Maskenhaube, Haubenmaske и даже просто Haube. Правда, в отличие от знаменитого Pickelhaube, эти термины не столь устойчивы и универсальны, так что при всей важности для «Стихов о неизвестном солдате» мотива смертоносного газа (*принижённый гений могил*) мы не можем уверенно утверждать, что Мандельштам эти названия знал и сопоставлял их с «чепчиком счастья».

Так или иначе, в русских переводах и пересказах, будь то Диккенс или Костер, мемуары или газетная статья, наш причудливый предмет, приносящий удачу, разумеется, не фигурирует, поскольку все выражение в целом автоматически передается фразеологизмом «родиться в сорочке / рубашке»³³. Иначе гово-

и т. п. Очевидно, что насмешливое название эксплуатирует семантический зазор между старыми и новыми, высокими и низкими значениями слов, поскольку что бы ни значило Pickel и Haube в Средние века, в разговорном немецком XIX и XX вв. Haube соотносилось прежде всего с чепчиком, а Pickel — с прыщом, небольшим нарывом.

³² Достаточно упомянуть его раннее стихотворение «Немецкая каска, священный трофей, / Лежит на камине в гостиной твоей. // Дотронься, она, как игрушка, легка; / Пронизана воздухом медь шишака...» (осень 1914 г.) (О. Э. Мандельштам. Сочинения. Т. I. С. 297). Строчка *пронизана воздухом медь шишака* в этих довольно-таки лапидарных стихах, по-видимому, означает, что каска прострелена. В этой связи уместно вспомнить, что стрельба по наверхиям немецких Pickelhaube, торчавших из окопов, была одним развлечений солдат Антанты во время Первой мировой войны.

³³ Ср. «Повитуха, она же кума, Катлина завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к голове мальчика и указала на прикрытую пленкой макушку. — В сорочке родился. Значит, счастличик! — сказала она радостно» (*Шарль де Костер*. Тиль Уленшпигель / Пер. с французского О. Мандельштама. М.; Л., 1928. С. 15, 16, 17); «Повитуха кума, Катлина, завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к его головке и указала на прикры-

ря, *чепчика счастья* в русском литературном языке не существовало, и Мандельштам вводит его как некое общеевропейское заимствование. При этом происходит своеобразная деконструкция языковой метафоры, разрушение фразеологизма в чужом языке и создание поэтической метафоры в языке собственном³⁴, приносящей, как мы уже говорили, в образ черепа тему рождения, младенчества. При подобной трактовке отклик этой темы становится более заметен в соседствующих описаниях, есть он, по-видимому, не только в уже упоминавшейся метафоре *звездным рубчином шитый чепец*, но и, например, в характеристиках *дразнит себя, сам себе снится и понимающим куполом яснится*.

В заключение следует, пожалуй, коснуться еще одной проблемы, которая неизбежно возникает при исследовании большинства скрытых межъязыковых заимствований — проблемы восприятия и понимания. Действительно, самое присутствие этих заимствований весьма легко ускользает от читателя, и в этом отношении весьма характерна реплика, которую можно услышать как от филолога, так и от непрофессионального любителя поэзии Мандельштама: 'сколько лет читаю эти стихи, люблю их, часто повторяю, и никогда не замечал здесь столь хитроумного обыгрывания иноязычного материала'.

тую пленкой макушку. — В сорочке родился, под счастливой звездой, — сказала она радостно» (*Шарль де Костер*. Легенда об Уленшпигеле / Пер. А. Горнфельда. М., 1955. С. 27, 28).

³⁴ Слово *чепчик* вовлекается в межъязыковую игру у Мандельштама по крайней мере еще единожды. Правда, на этот раз такое обыгрывание происходит куда менее заметно, и речь здесь идет о построении метафоры на основе того, что в другом языке является устойчивым естественнонаучным термином. В одном из стихотворений о щегле (конец 1936 г.) есть строфа: «Когда щегол в воздушной сдобе / Вдруг затрясется, сердце-вит, — / Ученый *плащик* перчит злоба, / А *чепчик* — черным красовит» (О. Э. Мандельштам. Сочинения. Т. I. С. 223). Слова *плащик* и *чепчик* на русской почве выглядят вполне уместно в поэтической метафорике птичьего оперения, однако скорее всего они почерпнуты поэтом из языка немецкой орнитологии (в частности, популярной), где термины *Mantel* и *Naube* регулярно используются для систематического описания птиц, причем *Naube* в этой традиции обозначает 'хохолок' или особую группу перьев, его образующих. О других средствах описания, связанных с научным дискурсом, в этом цикле о щегле см. Л. Д. Панова. «Живая поэзия слова-предмета»: о мандельштамовском инварианте «de rerum natura» // Сохрани мою речь. Вып. IV. М., в печати.

С другой стороны, в некоторых случаях (правда, интересующей нас метафоры *чепчик счастья* это касается в меньшей мере) не столь очевиден и ответ на вопрос, какое, собственно, приращение смысла мы обретаем, раскрыв то или иное межъязыковое соответствие. Много ли нового, кроме самой сладости узнавания, дает нам понимание того, что в строках *Фета жирный карандаш* или *И в горных ножнах слух, и голова глуха* слова *жирный* и *голова* как бы продублированы?

И, наконец, в какой степени эти лингвистические загадки вообще предполагают отгадывание? Если речь идет о немецком или, например, французском языке, можно было бы исходить из презумпции, что образованный читатель, обладающий определенной языковой компетенцией, способен их разглядеть, но, как мы знаем, на практике это происходит нечасто, и причиной тому именно мандельштамовский способ кодирования — будь соответствующее иностранное слово попросту вставлено в текст, оно без труда было бы опознано и переведено. При этом у некоторых пластов лексики, вовлекаемой поэтом в межъязыковую игру, вообще очень немного шансов быть опознанными, а у загадки, соответственно, вроде бы и вовсе не остается шансов быть разгаданной. Трудно вообразить, к примеру, что поэт и впрямь рассчитывал лишь на читателей, знающих, что «глух» по-армянски означает ‘голова’³⁵.

Что же в таком случае является предметом нашего изучения? Некоторая сутобо техническая «кухня» порождения стиха или все-таки то, что составляет его поэтику и имеет некоего адресата?

На наш взгляд, адресация к читателю здесь несомненно присутствует, однако в интересующей нас области она лишь отчасти направлена на аналитическое понимание и в большей мере — на восприятие. Если так можно выразиться, Манделштам в данном случае работает для читателя, но не с читателем, а с языком. Утверждение, будто поэт конструирует некое общезыковое пространство, по-видимому, не до конца верно, скорее, следует говорить о том, что он убежден в изначальном существовании пространства такого рода. В этом отношении особенно показателен

³⁵ Если только Манделштам не исходил из того, что уже оставил для читателя некий ключ к пониманию в прозаическом тексте «Путешествия в Армению», созданном за пять с лишним лет до этих стихов.

тельно процитированная выше «яфетическая новелла» из «Путешествия в Армению». Сколь бы наивной она ни выглядела с точки зрения современного лингвиста, эта новелла предлагает азы той всеобъемлющей «поэтической ностратики», на которую опирался в своем позднем творчестве Мандельштам ³⁶. Он делает ставку на те имманентные силовые потоки, которые проходят по вертикали и горизонтали — от праязыка к современности и от одних живых языков к другим.

В работе с этой языковой стихией понимание как для поэта, так и для читателя порой превращается в процесс вторичный и не всегда обязательный, прикосновение же к межъязыковым связям как таковое обладает самостоятельной ценностью. Так, Мандельштам, завершая стихотворение «Не у меня, не у тебя — у них» (1936 г.), вдруг обнаруживал в этом тексте обилие сочетаний *их* и *из* «и почему-то решил, что это влияние испанской фонетики» ³⁷. Изначальное единство-родство языков как бы само собою запускает некие механизмы поэзии и почти магическим образом внедряется в воображение, сперва у автора, а затем — у читателя.

Не исключено, впрочем, что в иных случаях поэт все же ждал от своего слушателя аналитического сотрудничества, внимания и разгадки, и *чепчик счастья* принадлежит, по-видимому, к разряду именно таких примеров. Как кажется, исконный общеязыковой субстрат мог быть для Мандельштама чем-то вроде рельефного океанического дна, которое, никогда не обнажаясь полностью, определяет морские течения и иногда проступает на поверхность в виде вполне зримых островов суши.

³⁶ Изображение такой древней «ностратической» картины мира можно найти и в стихах, хронологически и тематически непосредственно связанных с Первой мировой войной: «А я пою вино времен — / Источник речи италийской — / И в колыбели праарийской / Славянский и германский лен!» » (О. Э. Мандельштам. Сочинения. Т. I. С. 108). Однако здесь она воплощена, разумеется, совершенно иными поэтическими средствами.

³⁷ Н. Я. Мандельштам. Третья книга. М., 2006. С. 372—373.